



Где живет вчера?

Часть 2. Память как конструкция: от советских архивов к цифровым следам



Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

16:27, 16 января 2026,

Алексей Семенов-Труайя

социолог

полную версию материала со всеми мультимедиа-элементами
вы можете прочитать [по этой ссылке](#) или отсканировав QR-код →



Эта публикация продолжает цикл статей социолога Алексея Семенова-Труайя о феномене памяти и попытках государства поставить его себе на службу.

В первой части мы проследили, как философы от Сократа до Бергсона бились над загадкой: где существует прошлое, если его уже нет? К середине XX века ответ начал проявляться — прошлое живет в нас, но не как музейная коллекция, а как непрерывная работа по его переосмыслению.

Теперь возникает следующий вопрос, более тревожный: если память конструируется здесь и сейчас, кто контролирует этот процесс? Кто решает, что помнить, а что забыть? Как общество защищается от манипуляций прошлым?

Послевоенные десятилетия дали на эти вопросы неожиданные ответы.

1950–1960-е: когда память стала базисом познания

Москва, конец 1950-х. Страна оттаивает после сталинских морозов. XX съезд разоблачил культ личности, но не ответил на главный вопрос: как жить дальше, если прошлое оказалось ложью?

Советские философы столкнулись с проблемой острее западных коллег. На Западе спорили о природе памяти в академических аудиториях. В СССР вопрос стоял экзистенциально: можно ли построить будущее на фальсифицированном прошлом?

Яак Ребане в начале 1960-х сформулировал тезис, звучавший почти крамольно: социальная память — это универсальный базис всякого познания, индивидуального и общественного. Не история, написанная партийными идеологами, а живая память

людей определяет, как они понимают мир.

Что это означало на практике?

Пожилой человек, переживший коллективизацию, видит мир не так, как его внук-комсомолец. У них разные рамки памяти — невидимые координатные сетки, через которые фильтруется вся новая информация. Дед помнит раскулачивание соседей, голод, страх. Внук помнит пионерские лагеря, первый спутник, веру в светлое будущее.

Кто из них прав?

Вопрос бессмысленный. У каждого своя правда — правда пережитого опыта. Память не хранит факты, она хранит смыслы. И эти смыслы определяют, как человек будет воспринимать любую новую информацию.

Ребане понял: память — не пассивное хранилище, а активный механизм социальной детерминации познания. Человек познает мир не с чистого листа, а через призму накопленного обществом опыта. Поэтому крестьянин и академик, глядя на один пейзаж, видят разное. Один — поле, где нужно пахать. Другой — объект эстетического созерцания.

Но если память определяет познание, значит, контроль над памятью — это контроль над сознанием.

Вывод этот не проговаривался вслух, но витал в воздухе. Именно поэтому советская власть так маниакально следила за историческими нарративами, переписывала учебники после каждого политического поворота, ретушировала фотографии, стирая «врагов народа».

1970–1980-е: социальная информация и ее архивы

Владимир Колеватов работал над своей концепцией с начала 1970-х, но книга «Социальная память и познание» вышла только в 1984 году — время, когда советское общество уже готовилось к перестройке, хотя еще не знало об этом. Он развил идеи Ребане в неожиданном направлении. Он посмотрел на память как на информационную систему — совокупность институтов, хранящих и передающих социальный опыт.

Какие институты? Библиотеки, архивы, музеи, школы, университеты. Но не только. Семья — тоже институт памяти. Когда бабушка рассказывает внукам о войне, она транслирует не просто истории, а способ понимания мира: что такое мужество, предательство, долг.



Колеватов ввел различие: есть теоретическое ядро социальной памяти (систематизированное знание, зафиксированное в книгах и документах) и есть практическая периферия (навыки, традиции, неписанные правила).

Теоретическое ядро контролируется государством довольно легко — через образовательные программы, цензуру, официальную историографию. А вот практическая периферия ускользает от контроля. Она живет в семейных преданиях, анекдотах, привычках, которые передаются вне официальных каналов.

Советская власть умела управлять теоретическим ядром: писать учебники истории, ставить памятники правильным героям, снимать одобренные фильмы. Но практическая память сопротивлялась.

Люди официально соглашались с партийной версией истории, но дома, на кухнях, рассказывали другие истории — о раскулаченных дедах, репрессированных дядях, голоде, несправедливости. Эта раздвоенность сознания — официального и частного — стала характерной чертой советского человека.

Колеватов этого прямо не писал (цензура не пропустила бы), но между строк читалось: тотальный контроль над памятью невозможен. Память сопротивляется, прячется, мутирует, но не исчезает.

На рубеже веков: реминисценции как ключи к

СМЫСЛАМ

Идеи Ребане и Колеватова продолжали развиваться в 1990-е, когда распад СССР заставил переосмыслить все основания. Светлана Дементьева, защитившая диссертацию в Томске в 2000 году, поставила вопрос, который вырос из работ предшественников, но звучал уже для нового времени: какую роль играют реминисценции в трансляции ценностей, когда прежние ценности рухнули?

Реминисценция — это смутное воспоминание, отголосок чего-то забытого, неявная отсылка к прошлому. Когда современный политик использует риторику времен холодной войны («враги окружают нас со всех сторон»), он активирует реминисценции тех, кто помнит ту эпоху. Молодежь слов не понимает, а старшее поколение вздрагивает — включается эмоциональная память.

Дементьева обнаружила: реминисценции работают как мосты между эпохами. Они позволяют передавать не факты (факты забываются быстро), а ценностно-смысловое содержание прошлого.

Пример. Фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» — реминисценция военного времени. Но она работает не как информация (мало кто помнит конкретные битвы), а как эмоциональный код: долг перед павшими, святость жертвы, недопустимость предательства памяти.

Каждое поколение наполняет эту формулу новыми смыслами, но эмоциональный заряд сохраняется. Так память передается не через пересказ событий, а через символы, которые вызывают нужные чувства.

Дементьева занималась вроде бы литературоведением (анализ культурных реминисценций), но выход был социально-

философский: общество управляется не столько через законы, сколько через символы, активирующие коллективную память.

1980-е: открытие социокода — операционной системы культур

Михаил Петров работал в то время, когда слово «компьютер» еще не стало бытовым, но его метафора оказалась пророческой. В конце 1980-х он сформулировал идею социокода — базовой программы обработки культурной информации, которая определяет, как общество кодирует, хранит и передает знания.

У каждой культуры своя «операционная система».

Древнегреческий полис кодировал знание через личностно-именную систему — информация привязывалась к авторитетным личностям (Пифагор сказал, Платон учил).

Средневековая Европа использовала профессионально-именной код — знание передавалось через цеховые корпорации (мастер — подмастерье — ученик). Современная наука работает на дисциплинарном коде — знание организовано по предметным областям, а не по персонам.

Социокод — это невидимая матрица, определяющая:

- Что считается знанием, а что бредом.
- Кто имеет право транслировать память (жрецы? ученые? блогеры?).
- Какие события достойны запоминания, а какие можно забыть.
- Как структурируется время (циклическое, линейное, многомерное).

Главное свойство социокода — его внебиологичность и вневременность. Он не наследуется генетически, но при этом удивительно устойчив. Русский социокод, сформированный византийским православием, степными набегами, крепостным

правом и имперской экспансией, продолжает работать даже после смены политических режимов.



Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Почему советская власть так легко воспроизвела имперские структуры? Почему «вертикаль власти» воспринимается большинством как норма, а не аномалия? Потому что это записано в социокоде — глубже любых идеологий и конституций.

Но социокод не монолитен. У него есть ядро (сакральные, незыблемые смыслы) и периферия (изменяемые элементы). Ядро — это представления о справедливости, должном порядке мира, правильных отношениях власти и народа. Периферия — конкретные формы их реализации.

Попытки революционных преобразований терпят крах, когда атакуют ядро. Большевики думали, что строят новый мир, но

воспроизвели крепостническую систему (колхозы = барщина) и имперскую вертикаль (партия = дворянство). Социокод мстит за попытки его сломать.

1990-е: французы открывают «места памяти»

Пока советские ученые работали в условиях цензурных ограничений, на Западе разворачивалась революция в понимании памяти.

Пьер Нора в 1980-е запустил грандиозный проект — многотомник «Места памяти» (*Les Lieux de mémoire*). Его тезис звучал парадоксально: мы одержимы памятью именно потому, что ее больше нет.

Что он имел в виду? Традиционные общества жили в памяти — ритуалы, обряды, праздники естественно воспроизводили связь с прошлым. Модернизация эту связь разрушила. Теперь мы вынуждены искусственно конструировать память через музеи, мемориалы, памятные даты.

«Места памяти» — это материализованные точки кристаллизации коллективной идентичности.

Для французов: Эйфелева башня, Версаль, Марсельеза, День взятия Бастилии. Для русских: Красная площадь, День Победы, березы, «Калинка-малинка» (даже если никто уже не помнит слов).

Эти места работают как символические якоря, удерживающие распадающуюся идентичность. Но парадокс: чем больше мы строим мемориалов, тем очевиднее, что живая память умерла. Памятники — это надгробия памяти.

Немецкие исследователи Ян и Алейда Ассманы развили идеи Нора. Они разделили память на коммуникативную (живая, передается через общение, охватывает 80–100 лет — три-четыре поколения) и культурную (закрепленная в текстах, ритуалах, институтах, может существовать тысячелетиями).

Коммуникативная память исчезает вместе с носителями. Последние ветераны Великой Отечественной умирают — и с ними уходит живое свидетельство. Остается культурная память — парады, фильмы, учебники. Но это уже не то. Это музеефицированное прошлое, лишенное эмоциональной достоверности.

2000-е: российская школа раскрывает глубины

Лариса Логунова в докторской диссертации 2011 года (Кемеровский университет) создала концепцию семейно-родовой памяти как фундамента всей архитектуры коллективного воспоминания.

Если Хальбвакс говорил о «социальных рамках», Нора — о «местах памяти», то Логунова нашла базовый уровень — семейную память, которая соединяет индивидуальное и коллективное, приватное и историческое.

Семья — это первичная лаборатория памяти. Здесь формируются смысловые коды, через которые человек потом будет интерпретировать большую историю.

Если в семье помнят репрессированного деда — советская эпоха воспринимается как время террора. Если помнят деда — героя войны — как время подвига и величия.

Логунова ввела понятие «мнемических следов» — отпечатков травматических событий в семейной памяти. Коллективизация, репрессии, война оставили шрамы на теле социальной памяти. Эти шрамы передаются от поколения к поколению, даже когда конкретные факты забыты.

Правнук может не знать деталей раскулачивания прадеда, но эмоциональный след сохраняется — недоверие к власти, страх перед насилием, готовность к мобилизации. Травма наследуется не генетически, а через социокод семейной памяти.

Вера Семенова (Институт социологии РАН) разработала биографический метод изучения памяти. Ее подход: нужно собирать не просто факты, а жизненные истории, где переплетаются большая История и малая история отдельной судьбы.

Метод восстановления истории семьи (ВИС) работает как археология смыслов. Исследователь просит рассказать семейную историю — и получает не хронику событий, а конструкцию идентичности. Человек рассказывает не то, что было, а то, как он это переосмыслил, какие смыслы извлек.

Семенова обнаружила: каждое поколение переписывает семейную историю, подстраивая ее под актуальные нужды. Дед рассказывал одну версию. Отец запомнил по-другому. Внук пересказывает третью версию. И все три — правда. Правда о том, как каждое поколение конструирует свою идентичность через прошлое.

Травма и социокод: когда память ломается

Теперь мы можем соединить две линии анализа — социокод (Петров) и травму (Штомпка, Александер).

Травма — это разрыв в социокоде, момент, когда привычные

способы обработки опыта перестают работать.

Коллективизация разрушила крестьянский социокод — представления о семье, собственности, справедливости, отношениях с землей. Репрессии разрушили интеллигентский социокод — веру в разум, право, человеческое достоинство.

После травмы общество пытается восстановить социокод, но это уже другой код — с изломами, искажениями, защитными механизмами. Посттравматический социокод включает:

- Недоверие как норму (всем нельзя верить, власть опасна).
- Двоемыслие как стратегию выживания (говорить одно, думать другое).
- Забвение как защиту (не помнить то, что больно).

Но травма не исчезает. Она мигрирует в глубины — в семейные легенды, невысказанные страхи, телесные реакции. Внук репрессированного вздрагивает от стука в дверь, хотя не знает почему.

Почему постсоветское общество так тяжело строит демократические институты? Потому что травмированный социокод воспроизводит паттерны выживания в тоталитарной системе: не высовываться, не доверять, не объединяться.



Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Почему термодинамика? О пользе физических метафор

Читатель вправе спросить: при чем тут физика, когда мы говорим о памяти?

Социальная термодинамика — это не попытка свести общество к формулам, а эвристическая метафора, помогающая увидеть невидимое.

В замкнутой физической системе энергия не исчезает, а трансформируется. В социальной системе память тоже не исчезает — она переходит из одной формы в другую. Официальная история вытесняет неудобные факты, но они не испаряются. Они уходят в латентные слои — семейные предания, анекдоты, молчание.

Второй закон термодинамики говорит: энтропия (беспорядок) в замкнутой системе растет.

Социальная память тоже стремится к энтропии — забвению, фрагментации, хаосу. Чтобы сохранить память, нужна работа — ритуалы, институты, нарративы.

Но главная польза термодинамической метафоры — понимание фазовых переходов. Вода остается водой при нагреве, но в критической точке мгновенно превращается в пар. Общество может долго терпеть, но в критический момент происходит фазовый переход — революция, распад, трансформация идентичности.

Травма — это и есть фазовый переход в системе памяти. После нее старые правила не работают, формируется новая конфигурация.

Термодинамика помогает избежать линейного мышления. Память — не библиотека, где можно просто стереть полки. Это живая система, где любое вмешательство порождает непредсказуемые эффекты.

2010–2020-е: цифровая память и алгоритмическое забвение

Двадцать первый век радикально изменил природу памяти.

Раньше забвение было естественным процессом. Теперь в интернете ничто не забывается. Каждый пост, фото, комментарий — навсегда. Право на забвение стало юридической проблемой.

Но парадокс: при тотальной архивации мы помним меньше. Алгоритмы решают, что нам показывать. Facebook*, YouTube, Яндекс создают персонализированные пузыри памяти — каждый видит свою версию прошлого.

Алгоритмы стали новыми агентами памяти. Раньше агентами были: церковь, школа, государство, семья. Теперь — корпорации, владеющие платформами. Кто контролирует алгоритмы, контролирует прошлое.

Цифровая память фрагментарна и множественна. Нет единого нарратива — есть миллионы персональных историй. Это демократизация памяти? Или ее распад?

Кто контролирует прошлое сегодня?

Мы вернулись к вопросу, с которого начали: кто контролирует прошлое?

Ответ уже не так прост, как в 1984 году Оруэлла. Тогда казалось: тоталитарное государство может полностью переписать историю. Сегодня видно: полный контроль невозможен.

Память сопротивляется тремя способами:

- **Первый — через социокод.** Глубинные культурные коды не переписываются указами. Они живут в повседневных практиках, языке, телесных навыках.
- **Второй — через семейную память.** Государство контролирует учебники, но не может залезть в семейные беседы (хотя и пытается).
- **Третий — через цифровую избыточность.** Информации так много, что цензура уже не успевает. Запретишь в одном месте — всплывет в десяти других.

Но это не значит, что попыток контроля нет. Наоборот — они

становятся изощреннее. Не прямая цензура, а алгоритмическое управление — показать одно, скрыть другое, направить внимание.

Современные войны памяти ведутся не танками, а мемами, не цензурой, а информационным шумом.

Эпилог: память как поле битвы

Путь от Сократа до цифровых алгоритмов прошел полный круг.

Сократ спрашивал: где существует прошлое? Ответ: в постоянной работе по его переосмыслению.

Оруэлл спрашивал: кто контролирует прошлое, контролирует будущее? Ответ: контроль возможен, но не абсолютен.

Мы спрашиваем сегодня: возможна ли общая память в эпоху тотальной фрагментации? Ответ пока не найден.

Но ясно одно:

память — это не данность, а задача. Каждое поколение заново конструирует связь времен. Или теряет ее — тогда общество распадается на атомизированных индивидов без прошлого и без будущего.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



[Традиции, ностальгия по СССР и хаос трансмутации](#)

Живая память: как опыт поколений перетекает через время или на чем строится идентичность

11:20, 26 ноября 2025, Алексей Семенов-Труайя



[Битва за вчера](#)

Как прошлое стало полем сражения

12:08, 14 ноября 2025, Алексей Семенов-Труайя